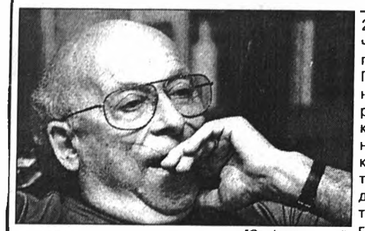
ОБРАЗ ДАЛЕК ОТ МЕТРИКИ

Индивидуальные удачи на фоне всеобщей дегенерации вполне возможны и без них не обойтись, считает Юз Алешковский



Юз Алешковский.
Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)

26 мая в Москве вручена литературная премия Александра Пушкина. Ее учредил немецкий фонд Альфреда Тепфера. Пушкинская премия оценивает не качество какого-то одного литературного произведения, а личность в творчестве. В этом году премию получил Юз Алешковский.

Алешковский Юз
31.05.2001

Екатерина Варкан

ЮЗ, СЛЕДИТЕ ли вы из Америки за тем, что происходит в современной русской литературе, и кто вам симпатичен, если вы выделяете каких-то авторов?

– Я читатель. Если чтиво не проходит бесследно, как ежедневная пища, то это меня радует. Больше всего – женщины-поэтессы, а их пять-шесть звезд на небосклоне современной русской литературы. И прозаические произведения есть замечательные. Роман **Виктора Пелевина** «Чапаев и Пустота» произвел на меня прелестное впечатление. Я читал его с радостью и удивлением, поражаясь фантазии автора (что мне особенно дорого в любом художественном произведении), языку, изяществу, с которым автор справляется с самыми сложными ситуациями. Одним словом, высочайшего класса сочинение.

– В России вас знают в основном как прозаика, но вы еще и поэт.

– Нет. Я однажды понял, что не поэт. Поэт – это особенность судьбы, необязательно трагической, кстати, а вообще особенность, единственность в творчестве, в поведении и прочем. Что я прозаик, я просто почувствовал. У меня музыка все время болталась в башке, музыка не ритмическая, не стихотворная, не музыка поэзии, а прозы. Так вот я как-то ощутил, что первая строчка ведет меня к предсказуемости последней, и перестал писать стихи. В прозе у меня этого нет: бросаюсь в пропасть и не знаю, что будет впереди. Может быть, эта неизвестность стимулирует появление второй, третьей и четвертой строки, двадцатой страницы и замечательного слова «эпилог».

– Нет ли ощущения во время работы, что идет считывание и списывание?

– Если уж на то дело пошло и мы, кажется, заговорили о природе творчества, мне не ясна тайна создания, я могу только так говорить: «Ангел помог». Я, кстати, слышал, что это отношение к тайне творчества разделяли многие очень талантливые и, я бы даже сказал, гениальные мастера русской словесности.

– Вы ввели ненормативную лексику в обиход русской литературы. Нет ли у вас ощущения, что она сегодня уже архаична?

– Я ее не вводил, это всегда бытовало и существовало. Мне как-то повезло, что в контексте времени мой текст, в частности, «Николай Николаевич», оказался так изысканно ошеломляющ, если я не занимаюсь самообольщением, конечно. Именно какая-то везуха, такая же, как с песенками. Я ведь и с ними не старался угадать, а соответствовал тому, что было во мне, во времени и его воздухе, если воспользоваться сомнительной фразеологией **Блока** – «музыке революции».

А если говорить о лексике конкретно, то ее продиктовал сам герой, а не мои какие-то наклонности, скажем, к сквернословию. Хотя я сквернословлю с трех с половиной лет, это не моя вина, а такое окружение было: двор, среда. Одним словом, лексику продиктовал герой, а герой – человек уличный, карманник. И мне было ясно, на каком он языке изъясняется, и не трудно было войти в его шкуру, хотя я всего один раз в жизни воровал, когда в юности (было мне лет пятнадцать) захотел стать карманником (до того у меня была другая специализация). Что же спер?

(Окончание на стр. 13)

(Окончание. Начало на стр. 9)

Залез в сумочку к кондукторше трамвая и, показалось, вытащил пачку денег. Тем временем мои партнеры затерялись где-то в другом конце трамвая, и передать сверток (как положено по классике воровства) было некому. Короче говоря, я выскочил на улицу, забежал в подворотню и развернул его. Это оказался бутерброд с сервелатом. У кондукторши трамвая. Между прочим, в 44 году. Конечно, конфуз мой был ужасен и больше я по карманам никогда не лазил. И вообще скоро завязал, пережил пору воровства, связанную с военным детством, с безотцовщиной и вообще с духом зверства, разлитым во времени. Почти все ведь тогда этим занимались, кроме полных очкариков, несовершенных от природы.

Словом, отсюда и лексика. Но вообще меня удивляет, что есть люди, которые за моим матом не видят забора. Этих людей я не уважаю. У них нет ни зрения, ни вкуса. В некоторых моих сочинениях нет ни одного слова мата, они чрезвычайно и, может быть, даже чересчур серьезны, за что я себя сейчас корю, изменив какому-то музыкальному ключу своей души, своей музы, вернее говоря. И автографов я таким людям не даю.

– Юз, может быть, вы попробуете определить, как изменился язык с того времени как вы начали заниматься литературой?

– Совершенно очевидно, что изменяется все под нашим зодиаком. Печально изменилось и состояние языка, но я думаю, что язык сам по себе стихия божественная, хоть и засоряемая человечеством фразеологизмами партий, политиков, толпы бездарной, которая, как правило, языка не чувствует, а пользуется им в своих омерзительно-утилитарных целях, как человечество пользуется лесами и полезными ископаемыми, губя природу. Я совершенно убежден – в языке, как бы то ни было, качество абсорбируется благодаря очистителям языка – писателям, педагогам, другим подвижникам.

С языком случаются метаморфозы, как и с жизнью. Вот, скажем, живешь в каком-то помещении или работаешь и вдруг поражаешься необычайной спертости атмосферы, в которой находишься, когда воздух жизни, находящийся в этом помещении, выталкивает тебя из него своей отвратной, невозможностью в нем далее пребывать, более того, чувством унижения человеческого достоинства вообще, а не моего только личного. Меня не преследовали, хотя могли бы, наверное, за романы «Кенгуру», «Рука», за того же «Николая Николаевича» шарахнуть не по политическим делам – там никакой политики нет, а хотя бы за употребление мата. И я выскочил. Одной из причин был страх, а если выражаться точнее – брезгливость. Я не хотел сидеть в их камерах и смотреть на настоящих преступников, которых я уже повидал, как, впрочем, повидал в тех местах отдаленных и людей замечательных. И еще я подумал: неужели за всю жизнь (тогда уже большая половина была пройдена – политинник мне был) я так и не посмотрю матушку-землю, неужели? И я принял мгновенное решение, потому что это была возможность обрести, во всяком случае, лизнуть свободу. А свобода, я всегда говорю, это – подохнуть так, как я хочу.

– Вы уехали легко?

– Да, нормально. Я не хочу, чтобы на мне висели обрывки давровых листьев, которые давно повисли на некоторых моих коллегах.

– А близко ли вам понятие ностальгии?

– Я однажды сформулировал так: ностальгия – это болезнь, которая возникает тогда, когда у тебя есть все, кроме нее. Никогда не ностальгировал. А если думал с грустью и любовью о милых лицах девушек русских, если думал о родине своей, о подмосковной Мамонтовке, о Нескучном саде, где вырос, или о Малой Бронной, где жил, то это замечательно. И хлеб черный один чего стоит. Но это не та самая ностальгия, которая тебе мешает жить. Наоборот, такие воспоминания делают твою жизнь поэтической.

– Чем вы занимались в эмиграции и как зарабатывали деньги?

– Мне скучно об этом говорить. Вот с голоду не подох. Кепка на мне хорошая? Значит, все в порядке. Быт мой организован замечательно – гуляю, читаю. Мы много ездим, путешествуем, когда выдается время и час. Вот и все дела.

– Чем вы могли бы заниматься кроме литературной деятельности?

– В СССР после лагеря работал шофером. И у меня, кстати, нет к советской власти никаких претензий, потому что всю жизнь я мечтал быть шофером и она мне эту возможность предоставила.

А вообще, по призванию я деревенский плотник. И это не потому, что я Иосиф, просто с малых лет люблю орудовать топором, молотком – люблю строить. Хотя с детства мне был присущ, как каждому мальчишке, инстинкт разрушения, который в нормальных условиях превращается в инстинкт созидания и изобретательности. Но сначала, короче говоря, преобладал анализ над какими-то влечениями к синтезу, назовем это так.

– А в плотницком деле вы достигли успехов? Построили себе дом?

– Я построил себе охренительный совершенно воздушный деревянный замок. Я не скажу места, потому что его нельзя указать. Воздушный – говорит само за себя.

– Есть фотографии?

– В душе – да. К сожалению, я не могу никого пригласить туда. Словом, я действительно его построил с помощью одного только топора. Это почти Кижи.

– А каков его масштаб, размер, объем?

– Нелеп разговор об объеме, если речь идет о воздушном. А образ далек от метрики.

– В нашем обществе, Юз, в последнее время много разговоров об издержках американской демократии – и в бытовом, и в политическом смысле. Вы там живете, на ваш русский глаз, примечаете это?

– Давно уже замечено, что из всякого дерьма демократия – самое лучшее. Это парафраз **Черчилля**. А я лично восхищен американской бюрократической машиной, это наиболее легкая из всех бюрократических машин мира, чего, кстати, достаточно для более или менее комфортного проживания там.

Я благодарен американской жизни (не хочется говорить американской демократии) за то, что никогда не чувствую власти. Слава Богу, не нарушаю законы, а нарушал бы, чувствовал. В Америке я впервые испытал уважение к ментам, потому что они ведут себя пристойно даже тогда, когда жизнь очень жестока к ним.

Меня удручает царство охлоса, охлократия, а не система демократии, что означает: за историческое время человек необычайно поумнел, а человечество чудовищно отупело. И мы живем в то самое время, когда охлос давит, но, к счастью, система американской жизни такова, что охлос не может изменить основных параметров бытия – социальных и культурных. Круглые сутки на некоторых радиоволнах звучит классическая музыка, а на всех остальных – попса. Вот эта отвратина удручает, и сиди в этом многоголосии и думай печально, что вырождается культура. Но я радуюсь, что одновременно вырождается и попса. Вы заметили, что музыкальные инструменты у них стали неестественными, похожими на вибратор – заменитель плоти. Но есть ведь и скрипочки, и виолончели, и флейты, и рожки, и фольклор, и кантри, и поэтичные тексты. Это такая плавильня, где все существует, неизвестно только, что выживет. Похоже на некий хаос, в котором ежесекундно, ежеминутно, ежечасно и вечно совершается что-то и формообразующее, и вкусообразующее, и утверждающее традиции, и разрушающее их. Словом, главное – не в самой демократии, традиционно формулируемой, а в том, что система не позволяет распасться обществу, живущему более или менее комфортно и сыто.

– Вы одним из первых (текст «Николай Николаевич») затронули проблему клонирования. Что нам несет прогресс науки, в первую очередь, биологической?

– Когда у **Клинтона** случилась эта история с **Моникой**, я придумал байку, что она торганула биологам свое скандальное платьице со спермой и **Клинтона** уже клонировали. Я распустил слух, и он разошелся (было лестно), что мини-Клинтон уже дозрел до 9-го месяца и вот-вот должен появиться.

Что будет с клонами? Я думаю, что мы (человечество) уже доигрались, кстати. Величайшие научные и технические достижения и возможности генной инженерии – уже под потолок, и это еще не конец. А вместе с тем захватывает чрезвычайная бытийственная тупость коллективного сознания человечества, которая, в конечном счете, возможно, сделает реальным конец света. Я думаю, Творца это все, в конце концов, достанет. Терпение его, конечно, неистощимо, и богова времени много, и, вероятно, его силы витальной, или энтелехии, как ее называют, хватит еще на тысячи лет. А может быть, я ошибаюсь и не так воспринимаю новые формы бытия человеческого, а именно общественного развития.

Если же говорить об отдельном человеке, тут другое дело. Думали же, что все, конец поэзии, когда **Блока** не стало (или **Лермонтова** в свое время). А вот **Бродский** появился – совершеннейший, чистый гений, в одном ряду с **Овидием** и **Пушкиным**. Так что индивидуальные удачи на фоне всеобщей дегенерации вполне возможны, и без них не обойтись. Думаю, даже Господу Богу не нужно было бы все это, если бы на фоне явной охлократической дегенерации не появлялись бы жемчужины – поэзии, смирения (это если о человеке и возможностях его нрава), я уж не говорю о холсте и кисточке, о звуке. Иногда даже кажется, что минуту задумчивости одной благодарной человеческой личности Господь рассматривает как стихотворение или музыкальную пьесу.

А все остальное... Мало ли мусора? Есть он у всего, в том числе и у бытия.

– Как издалека видимся вам мы, ваши соотечественники? Вы за нами наблюдаете?

– Не только наблюдаю, а живу вашими страстями, переживаю, радуюсь и огорчаюсь, болею, поражаюсь уродствам разным, вроде бы даже изменившимся по форме, но по сути дела напоминающим мне те уродства, что были при моей жизни здесь.

– Может быть, со временем появилась коррекция зрения?

– Если на то дело пошло, при взгляде на Нью-Йорк я впервые почувствовал, что такое Новый Свет, и он мне показался омерзительным. Таким же омерзительным, как Москва – дымная, копотная, вонючая, разлагающаяся, когда я ее покидал. Конечно, тогда был еще такой своеобразный взгляд из-за моего настроения. Как будто в Москве не было ничего прекрасного! – Было Царь-пушка была, купола, Замоскворечье – все это было. Я говорю о своем существовании на фоне Москвы, а не о существовании Москвы на фоне своей ничтожной единичной жизни. Так вот, к Новому Свету, особенно к городскому, что и есть символ Америки, я отнесся с первого взгляда с омерзением, но потом разобрался. Помните, у **Федора Михайловича** многие герои грозили себе и окружающим именно Америкой. Ничего не было страшнее Америки, которая и стала для него реализацией того света, ада. Причем, это не абстрактное божье наказание, а конкретное место. Так что символ ада для **Достоевского** – Новый Свет. Я не воспринял Америку, как ад, но Новый Свет я ненавижу, потому что я архаичный человек и мне нравится Европа. И в Москве я себя чувствую в Европе, люблю ее. Это мои священные камни. Но тем не менее пространство Америки – это дивное божье пространство: березок до хрена, ходи у каждой ель слезы, обдирай кору и пиши грамоты и письма. И мед, и травки, и цветки. Может быть, единственное – из-за проклятья индейских вождей за геноцид – у них не пахнет малина малиной, а клубника не духовитая, и яблоки не те.

– Вам понятно, что сейчас происходит в нашем обществе?

– Ну что? На верхотуре занимают посты бывшие чекисты. Президент был разведчиком. Но все-таки разведчик – это, на мой взгляд, не тот человек, который здесь преследовал диссидентов. Разведчики – другие люди, умные и образованные. У меня нет предубеждения (это было бы нелепо) к работавшим в органах, если они включились в систему новой жизни России. А кому тогда работать? Между прочим, там не худшие из голов были, умнее люди туда попадали, чем в комитет по физкультуре и спорту. Другое дело, куда направлялись их способности. И если их умения сейчас прилагаются к государственному строительству, то это правильно. В общем, если ты работаешь сегодня на Россию, на государство, на отечество, на людей, на обную жизнь – ну и работай. Другое дело, что некоторые из чистюль, можно даже назвать их либералами, демократами, технократами – не важно, как – в какой-то момент стали чистыми ворюгами и ублюдками. Словом, все похорошели за последнее десятилетие. Не мне выносить приговоры, но это моя точка зрения.

Если говорить о свободе – газеты и журналы выходят. В своих америках мы читаем вашу «Независимую газету». Возня вокруг НТВ мне всегда казалась двусмысленной, потому что там произошло смешение финансовых вопросов со спекуляцией на свободе слова. Тоже не готов судить и выносить свои определения случившемуся, но не хочется попадать и под обаяние истерии – с обеих сторон. Другими словами, начнут зажимать – станет ясно. Тогда все будет зависеть от людей, которые чувствуют себя свободными. Они или станут сопротивляться, или будут опять в жопе, и на кухне пить спирт, как мы пили раньше. А страна откатится туда, откуда ей уже не выбраться, потому что рассчитывать можно только на свободные умы.

– Многие сегодня вспоминают, как пили по кухням, и вас – как вы пели песни и блестяще готовили.

– Жрачку я люблю. Я научился готовить во время войны, когда этим никому было заниматься. Что-то проснулось во мне – наверное, баба в прошлой жизни. Мы же все в смешении, и я отчасти тоже женщина, только у меня это начало выражается в тяге к приготовлению еды, а не к сексуальным извращениям. И это вполне устраивает – такая доля женственности в моем мужском бытии.

– Как живут в Америке, что едят и пьют русские эмигранты?

– Стараются устраиваться так, как на родине. Между прочим, бизнесмены учли эти вкусы и потребности. В Нью-Йорке и других больших городах есть русские магазины. Есть все, от икры (которая, надо сказать, на вкус отвратительна, потому что не умеют как следует солить) до варений всяких, черный хлеб и колбаса докторская, по которым я больше всего тосковал. Килька в томате есть, если на то дело пошло. Патиссоны, помидоры, огурчики. Ну, короче говоря, едят так, как и ели. Хотя многие американизируются, особенно дети.

– А понимают ли американцы этот русский кайф в еде, жизни, литературе, кстати, тоже?

– Некоторые американцы понимают. Но они вообще консервативные. У них вкусы – и желудочные, и интеллектуальные – чрезвычайно стандартизированы, и это производит омерзительное впечатление. Но речь идет не о том, что нет в Америке самобытных людей – по характеру или по умонастроению, нет чудаков или, скажем, нет в Америке этой самой духовности, которой кичатся наши люди, не совсем понимая, что такое духовность. Все там есть. Ведь Америка – это котел, действительно воплощенный интернационал, но не все завоевали популярность. Есть и тонкости, есть и пошлый стандарт, все есть – на выбор. Но оно не будет вкуснее, чем на родине, по каким-то мистическим причинам.

– А какую еду вы готовили тогда и делаете теперь?

– Моя любимая жена считает, что никто таких супов не заделывает и бурдой, и рыбных солянок, и ух (правильное слово). Люблю делать жаркое классическое с коньяком, мясо разное типа шашлыков, котлеты конструирую, но это бытовуха. Сейчас, правда, многое отходит на второй план, потому что надо уже и есть не так, как раньше, ограничивая себя и соблюдая. Но если я угощаю друзей, всегда стараюсь их порадовать.

– Какая она – русская национальная кухня «в изгнании»?

– Это **Вайль** и **Гение** – кухня в изгнании, а у нас – смотря какая компания. Если русская, то у меня всегда есть квашеная капустка или соленья – разные овощи и сливы, и грузди, и чеснок. Это закусон. Селедочка обязательно, но не я ее делаю, а Творец придумал. К приходу гостей дорогих часто лосося солю, тут и картошечка вареная.

– А что выпить, покурить?

– Тридцать лет не курю, прокурив тридцать. Выпить сам люблю виски, а остальные – кто что хочет, водяра – всегда пожалуйста.

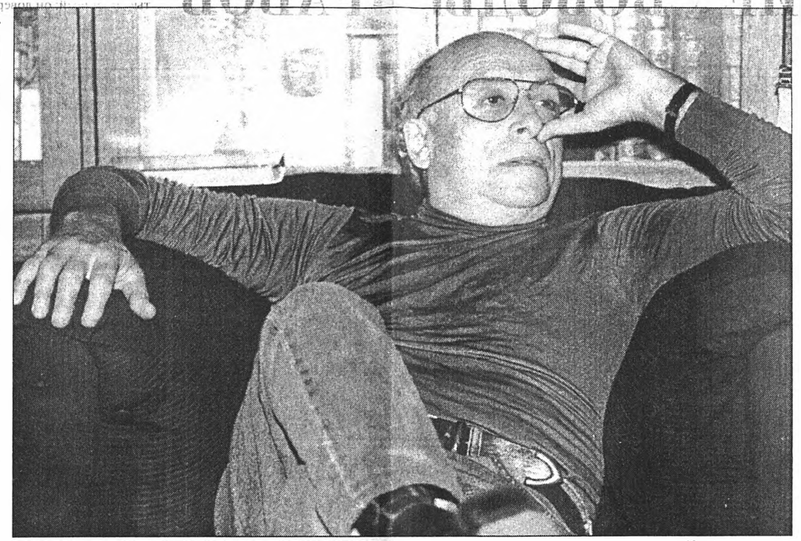
– Юз, с возрастом и жизненным опытом изменяются ли ощущения и восприятие?

– Я всегда любил эту жизнь, и каждый час благодарен Творцу за существование свое – совершенно случайное. Там ведь этих живчиков в сперме миллионы были, а один какой-то выбился в мамину яйцеклетку и получился такой мудак, как я. Я за этот миг Творцу всегда был благодарен, и этот миг благодарности называю счастьем. Хотелось бы, чтобы вы передали эту мысль. ■

ИЗ ДОСЬЕ «НГ»

Юз (Иосиф Ефимович) Алешковский родился 21 сентября 1929 года. Школу, возненавидев с первого класса, так и не окончил. Имеет полных пять классов образования, в 6 и 7 «сидел» по два-три года. Далее самообразовывался. Считает себя невеждой. В 1950 году во время службы на флоте был приговорен к четырем годам заключения с формулировкой «за нарушение воинской дисциплины». В лагере начал писать песни. Строки из многих стали крылатыми, например, знаменитые «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Сочинял детские пьесы и сценарии. Самым известным, пожалуй, стал «Кыш, Двапортфеля». Автор прозаических произведений «Кенгуру», «Рука», «Николай Николаевич». Уехал из СССР 9 февраля 1979 года. Живет в США.

ОБРАЗ ДАЛЕК ОТ МЕТРИКИ



Юз Алешковский.
Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)